

208
избранных страниц

ГРИГОРИЙ ГОРИН



Григорий Израилевич Горин

Избранные страницы

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=145389

Григорий Горин. 208 избранных страниц. «Золотая серия юмора»: Вагриус;

Аннотация

Не знаю, как у других писателей, а у меня за жизнь как-то само собой набралось уже несколько автобиографий. За долгие годы сочинительства я выпустил много разных книг в разных жанрах, и к каждой приходилось подбирать соответствующую автобиографию. В предисловии к сборнику пьес сообщалось, что как драматург я родился в 1968 году. В сборнике киноповестей год моего рождения – 1970-й. Поскольку перед вами сборник юмористических произведений, то сейчас хочу всех уведомить, что как юморист я появился на свет гораздо раньше. Произошло это в Москве 12 марта 1940 года. Ровно в 12 часов дня... именно в полдень по радио начали передавать правительственное сообщение о заключении мира в войне с Финляндией. Это известие вызвало огромную радость в родовой палате. Акушерки и врачи возликовали, и некоторые даже бросились танцевать. Роженицы, у которых мужья были в армии, позабыв про боль, смеялись и аплодировали. И тут появился я. И отчаянно стал кричать, чем вызвал дополнительный взрыв радости у собравшейся в палате публики. Собственно говоря, это было мое первое публичное выступление. Не скажу, что помню его в деталях, но странное чувство, когда ты орешь во весь голос, а все вокруг смеются, вошло в подсознание и, думаю, в какой-то мере определило мою творческую судьбу...

Григорий Горин

Содержание

От Автора	4
Рассказы (1960—1985 гг.)	6
Почему повязка на ноге?	6
Случай на фабрике № 6	8
Обнаженный Куренцов	13
Измена	18
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Григорий Горин

Избранные страницы

От Автора

Не знаю, как у других писателей, а у меня за жизнь как-то само собой набралось уже несколько автобиографий. За долгие годы сочинительства я выпустил много разных книг в разных жанрах, и к каждой приходилось подбирать соответствующую автобиографию.

В предисловии к сборнику пьес сообщалось, что как драматург я родился в 1968 году. В сборнике киноповестей год моего рождения – 1970-й. Поскольку перед вами сборник юмористических произведений, то сейчас хочу всех уведомить, что как юморист я появился на свет гораздо раньше.

Произошло это в Москве 12 марта 1940 года. Ровно в 12 часов дня... именно в полдень по радио начали передавать правительственное сообщение о заключении мира в войне с Финляндией. Это известие вызвало огромную радость в родовой палате. Акушерки и врачи возликовали, и некоторые даже бросились танцевать. Роженицы, у которых мужья были в армии, позабыв про боль, смеялись и аплодировали.

И тут появился я. И отчаянно стал кричать, чем вызвал дополнительный взрыв радости у собравшейся в палате публики. Собственно говоря, это было мое первое публичное выступление.

Не скажу, что помню его в деталях, но странное чувство, когда ты орешь во весь голос, а все вокруг смеются, вошло в подсознание и, думаю, в какой-то мере определило мою творческую судьбу...

Писать я начал очень рано. Читать – несколько позже. Это, к сожалению, пагубно отразилось на моем творческом воображении. Уже в семь лет я насочинял массу стихов, но не про то, что видел вокруг, скажем, в коммунальной квартире, где проживала наша семья, а в основном про то, что слышал по радио. По радио тогда шла холодная война с империалистами, в которую я немедленно включился, обрушившись стихами на Чан Кайши, Ли Сыньмана, Адэнауэра, де Голля и прочих абсолютно неизвестных мне политических деятелей:

Воротилы Уолл-стрита,
Ваша карта будет бита!
Мы, народы всей Земли,
Приговор вам свой произнесли!..

и т. д.

Почему я считал себя «народами всей Земли», даже и не знаю. Но угроза подействовала! Стихи политически грамотного вундеркинда стали часто печатать в газетах.

В девять лет меня привели к Самуилу Яковлевичу Маршаку.

Старый добрый поэт слушал мои стихи с улыбкой, иногда качал головой и повторял: «Ох, господи, господи!..» Это почему-то воспринималось мною как похвала.

– Ему стоит писать дальше? – спросила руководительница литературного кружка, которая привела меня к нему.

– Обязательно! – сказал Маршак. – Мальчик поразительно улавливает все штампы нашей пропаганды. Это ему пригодится. Если поумнеет, станет сатириком! – и, вздохнув, добавил: – Впрочем, если станет, то, значит, поумнеет до конца...

Так окончательно определился мой литературный жанр.

Заканчивая школу, я уже твердо решил, что стану писателем. Поэтому поступил в медицинский институт.

Это было особое высшее учебное заведение, где учили не только наукам, но премудростям жизни. Причем делали это, по возможности, весело.

Вспоминаю, например, нашего заведующего кафедрой акушерства, профессора Жмакина, который ставил на экзаменах студентам примерно такие задачи:

«Представьте, коллега, вы дежурите в приемном отделении. Привезли женщину. Восемь месяцев беременности. Начались схватки... Воды отошли... Свет погас... Акушерка побежала за монтером... Давление падает... Сестра-хозяйка потеряла ключи от процедурной... Заведующего вызвали в райком на совещание... Вы – главный! Что будете делать, коллега? Включаем секундомер... Думайте! Все! Женщина умерла! Вы – в тюрьме! Освободитесь – приходите на переэкзаменовку!...»

Тогда нам это казалось иезуитством. Потом на практике убедились, что наша жизнь может ставить задачи и потрудней, и если медик не сохранит в любой ситуации чувство юмора, то погубит и пациента, и себя...

Учась в медицинском институте, а затем работая врачом в Москве на станции «Скорая помощь», я продолжал писать рассказы и фельетоны. При этом настолько усовершенствовал себя в создании смешных ситуаций, что вскоре был принят в Союз писателей, но вынужден был оставить медицину в покое. (Многие из недолеченных мною пациентов живы до сих пор и пишут мне благодарственные письма за этот мужественный поступок...) Так я был причислен к разряду «писателей-сатириков». Сам же я себя считал только юмористом. Для меня «сатирики» – это узаконенные обществом борцы, призванные сделать окружающую жизнь лучше. Я же давно заметил, что наша жизнь от стараний писателей лучше не становится. Ее можно сделать чуть легче, если научить читателей не впадать в отчаяние... Этому благородному занятию я и посвятил значительную часть своей жизни...

Впрочем, вскоре юморески мне стали надоедать. Один мой знакомый сексопатолог, изучая психологию мужчин, обнаружил, что после сорока лет их более возбуждают крупные формы... в отношении женщин – не уверен, но в литературе – безусловно. Поэтому с середины 80-х годов я перестал писать юмористические рассказы, переключившись полностью на сочинение пьес и киносценариев.

Но тот же сексопатолог утверждает, что после шестидесяти мужчин снова начинает привлекать нечто хрупкое и миниатюрное.

Поскольку я стремительно приближаюсь к указанному возрасту, то все более и более мне хочется вернуться к малым юмористическим формам. Это чувство точно передал Ф. Искандер в стихотворении, обращенном к самому себе:

Присядь же на обломках жизни
И напиши еще хоть раз
Для неулыбчивой отчизны
Юмористический рассказ...

Это то, чем мне бы очень хотелось в дальнейшем заняться.

А пока публикую юмористические рассказы, написанные раньше... Поскольку в нашей стране, даже при ее стремительном развитии, по сути мало что меняется, разные поколения смеются все время примерно над одним и тем же...

Григорий ГОРИН

Рассказы (1960—1985 гг.)

Почему повязка на ноге?

Есть такой анекдот.

Приходит больной к доктору. У больного забинтована нога.

– Что у вас болит? – спрашивает доктор.

– Голова, – отвечает больной.

– А почему повязка на ноге?

– Сползла...

Я как-то рассказал этот анекдот, сидя в гостях у знакомых. Просили рассказать что-нибудь смешное – вот я и рассказал.

Все засмеялись.

Только пожилой мужчина, сидевший за столом напротив, как-то странно посмотрел на меня, задумался и затем, перегнувшись через стол, сказал:

– Простите, я, вероятно, не понял... У больного что болело?

– Голова.

– А почему же повязка на ноге?

– Сползла.

– Так! – грустно сказал мужчина и почему-то вздохнул. Потом он снова задумался.

– Не понимаю! – сказал он через несколько минут. – Не улавливаю здесь юмора!..

Давайте рассуждать логически: ведь у больного болела голова, не так ли?

– Голова.

– Но почему же повязка была на ноге?

– Сползла!

– Странно! – сказал мужчина и встал из-за стола. Он подошел к окну и долго курил, задумчиво глядя в темноту. Я пил чай. Через некоторое время он отошел от окна и, подсев ко мне, тихо сказал:

– Режьте меня – не могу понять соль анекдота! Ведь если у человека болит голова, на кой же черт ему завязывать ногу?

– Да он не завязывал ногу! – сказал я. – Он завязал голову!

– А как же повязка оказалась на ноге?!

– Сползла...

Он встал и внимательно посмотрел мне в глаза.

– Ну-ка выйдем! – вдруг решительно сказал он. – Поговорить надо!

Мы вышли в прихожую.

– Слушайте, – сказал он, положив мне руку на плечо, – это действительно смешной анекдот, или вы шутите?

– По-моему, смешной! – сказал я.

– А в чем здесь юмор?

– Не знаю, – сказал я. – Смешной и все!

– Может быть, вы упустили какую-нибудь деталь?

– Какую еще деталь?

– Ну, скажем, больной был одноногим?

– Это еще почему?!

– Если считать возможным, что повязка действительно сползла, то она, проползая по всему телу, должна была бы захватить обе ноги!.. Или же это был одноногий инвалид...

– Нет! – решительно отверг я это предположение. – Больной не был инвалидом!

– Тогда как же повязка оказалась на ноге?

– Сползла! – прошептал я.

Он вытер холодный пот.

– Может, этот доктор был Рабинович? – неожиданно спросил он.

– Это в каком смысле?! – не понял я.

– Ну, в каком смысле можно быть Рабиновичем?.. В смешном смысле...

– Нет, – отрезал я. – В этом смысле он не был Рабиновичем.

– А кто он был в этом смысле?

– Не знаю! Возможно, англичанин или киргиз...

– Почему киргиз?

– Потому что папа у него был киргиз и мама – киргизка!

– Ну да, – понимающе кивнул он, – если родители киргизы, тогда конечно...

– Вот и славно! – обрадовался я. – Наконец вам все ясно...

– Мне не ясно, что же у больного все-таки болело!

– Всего хорошего! – сказал я, надел пальто и пошел домой.

В час ночи у меня зазвонил телефон.

– Это вам насчет анекдота звонят, – послышался в трубке его голос. – Просто не могу уснуть. Эта нога не выходит из головы!.. Ведь есть же здесь юмор?!

– Есть! – подтвердил я.

– Ну. Вот и я понимаю... Я же не дурак! Я же с образованием... Жене анекдот рассказал – она смеется. А чего смеется – не пойму... Это, случайно, не ответ армянского радио?

– Нет! – сказал я.

– Тогда просто не знаю, что делать, – захныкал он.

Он позвонил мне на следующий вечер.

– Я тут советовался со специалистами, – сказал он. – Все утверждают, что повязка сползти не могла!

– Ну и черт с ней! – закричал я. – Не могла так не могла! Что вы от меня-то хотите?!

– Я хочу разобраться в этом вопросе, – сердито сказал он. – Для меня это дело принципа! Я на ответственной работе нахожусь. Я обязан быть остроумным!..

Я бросил трубку.

После этого он в течение нескольких дней звонил мне по телефону и даже приходил домой.

Я ругался, возмущался, гнал его – все безуспешно. Он даже не обижался.

Он смотрел на меня своими светлыми чистыми глазами и бубнил:

– Поймите, для меня это необходимо... Я же за границу часто выезжаю... У меня должно быть чувство юмора...

Тогда я решил написать о нем рассказ. О человеке, который таинственные законы смеха хочет разложить с помощью сухой таблицы умножения.

Свой рассказ я отнес в сатирический отдел одного журнала. Редактор долго смеялся.

– Ну и дуб! – говорил редактор. – Неужели такие бывают?

– Бывают, – сказал я. – Сам видел.

– Что ж, будем печатать, – сказал редактор.

Потом он обнял меня и, наклонившись к самому уху, тихо спросил:

– Ну а мне-то вы по секрету скажете: что же у больного на самом деле болело?!

– Голова, – еле слышно произнес я.

– А почему же повязка на ноге?..

Я понял, что этот рассказ вряд ли будет напечатан.

Случай на фабрике № 6

Все неприятности младшего технолога Ларичева происходили оттого, что он не умел ругаться. Спорить еще кое-как мог, хотя тоже неважно, очень редко повышал голос, но употребить при случае крепкое словцо или, не дай бог, выражение был просто не в силах. От этого страдал он сам, а главное – работа.

Работал Ларичев на обувной фабрике № 6, на которой, в силу вековых традиций (все-таки обувщики – потомки языкастых сапожников), ругаться умели все: от директора до вахтера. Ругались не зло, но как-то смачно и вовремя, отчего наступало всеобщее взаимопонимание, недоступное лишь младшему технологу Ларичеву. Он, со своей путаной, слегка шепелявой речью, выпадал из общего круга и вносил бестолковщину. Мог, например, часами просить кладовщика выдать в цех «те» заготовки, а не «эти», а кладовщик вяло говорил, что «тех» нет, и диалог был скучным и бессмысленным, пока, наконец, не приходил разгневанный мастер и не начинал орать на кладовщика, тот орал в ответ, мастер посылал кладовщика «куда подальше», тот шел и приносил именно те заготовки, которые и требовались.

Ларичев знал, что за глаза его все прозвали «диетическим мужиком», что над ним посмеиваются, что его авторитет равен нулю, но не мог придумать, как это все изменить. И каждый раз, когда в конце месяца на фабрике наступал аврал и надо было ускорить темп работы, директор начинал кричать на своих заместителей, те – на старшего технолога, старший – на младшего, а тот, в свою очередь, должен был орать на мастеров, но не мог. И поскольку эта налаженная цепочка разрывалась именно на нем, то получалось, что в срыве плана виноват именно он, Ларичев, и тогда на него орали все. От этого у Ларичева начинало болеть сердце, он приходил домой бледный, сосал валидол и жаловался жене.

– Женечка, – ласково говорила ему жена, – так нельзя, милый... Ты тоже спуску не давай. Ты ругайся!

– Я не умею, – вздыхал Ларичев.

– Научись!

– Не получается.

– Не может быть, – говорила жена, – ты способный! Ты – интеллигентный человек, с высшим образованием... Ты обязан это освоить! Занимайся вечерами.

– Пробовал, – грустно отвечал Ларичев.

Он, действительно, несколько раз пробовал. Наедине, перед зеркалом. Подбегал к зеркалу с решительным намерением выпалить все, что о себе думает, но каждый раз, видя свое хилое отражение, ему хотелось плакать, а не материться.

– Но это все вредно для здоровья, – говорила жена. – Мне один доктор объяснял, что брань – это выплескивание отрицательных эмоций. Все выплескивают, а ты не выплескиваешь! Если не можешь сам этому научиться, возьми репетитора.

– Ладно, – согласился однажды Ларичев, когда у него особенно сильно разболелось сердце. – Попробую учиться...

Шофер фабричной автобазы Егор Клягин долго не мог понять, чего от него хочет этот очкастый инженер в кожаной шляпке.

– Понимаете, Егор Степанович, – стыдливо опустив глаза, бормотал Ларичев, – я советовался со сведущими людьми, и все единодушно утверждают, что лучше вас этому меня никто не научит...

– Чему «этому»?

– Ну, вот этому... В смысле выражений... Все говорят, что вы их знаете бесчисленное множество...

– Кто говорит-то? – возмутился Клягин. – Дать бы тому по сусалам, кто говорит!

– Нет-нет, они в хорошем смысле говорили! В смысле, так сказать, восхищения вашим словарным запасом...

– Слушайте! – сердито сказал Клягин. – Некогда мне с вами шутки шутить, Евгений Петрович! У меня здесь и так... – тут Клягин употребил несколько тех выражений, которые были так недоступны Ларичеву.

– Вот-вот, – обрадовался Ларичев. – Именно так! Ах, как вы это лихо! Ну, прошу вас... Всего несколько занятий. А я вам буду платить.

– Чего? – изумился Клягин. Он решил, что Ларичев просто издевается над ним, но тот смотрел серьезно и несколько печально. – Это как же платить?

– Почасово, – сказал Ларичев. – У меня есть товарищ, преподаватель английского языка... Он берет за час занятий пять рублей.

– Ну, он английскому учит, – усмехнулся Клягин, – а тут – родному... Хватит и трешника.

– Спасибо, – сказал Ларичев. – Вы очень любезны.

В субботу днем Ларичев отправил жену в кино, достал магнитофон, тетрадь, ручки. Задернул шторы.

Клягин пришел в назначенный час. Он был при костюме и галстук, выглядел торжественно и чуть неуверенно. Оглядел квартиру, попросил запереть дверь, поинтересовался слышимостью через стены.

– А то, знаете, соседи услышат – еще пятнадцать суток схлопочем.

Увидев магнитофон, Клягин заволновался:

– Это зачем? Уберите!

– Это для записей, – пояснил Ларичев. – Мне так запомнить будет проще и легче отрабатывать произношение...

– Уберите! – настаивал Клягин. – Это ж документ. И потом, на кой на эту гадость пленку переводить?

– Нет-нет, прошу вас, – взмолился Ларичев. – Без магнитофона мне поначалу будет трудно...

– Зря я в это дело ввязался, – вздохнул Клягин, однако, уступив просьбам Ларичева, сел за стол. Нервно закурил.

– Начнем, Егор Степанович! – Ларичев сел напротив, открыл тетрадку. – Прошу вас!

– Чего?

– Говорите!

– Да чего говорить-то?

– Слова, выражения... Только помедленней... И если можно, поясняйте принцип их употребления...

Клягин задумался, напрягся, пошевелил губами, с удивлением обнаружил, что беспричинно вспотел, но так ничего из себя и не выдал.

– Как-то не могу без разгона, – сказал он, вытирая лоб. – Не идет как-то...

– Может, чаю выпьем? – спросил Ларичев. – Вы не волнуйтесь.

Он принес чай, коржики.

– Если вам трудно, Егор Степанович, начните с более мягких слов... Попробуйте! Клягин отхлебнул из чашки, снова задумался, наконец неуверенно произнес:

– Ну, например, «сука»...

– Так, – кивнул Ларичев, записывая слово в тетрадку, – хорошо. Ну и что?

– Ничего...

– Нет, я имею в виду, в каком смысле: «сука»?

– В обыкновенном, – пожал плечами Клягин. – Собака, значит, дамского полу...

– Это я знаю, – сказал Ларичев. – А как это употреблять?

– Да так и употребляйте...

– Нет, вы не поняли. Я хочу понять какую-то закономерность. Это слово употребляется в отношении одушевленного или неодушевленного предмета?

– Не знаю я...

– Ну, хорошо... Вот, например, отвертка... Она может быть этим... тем, что вы сказали?

– Отвертка? – удивился Клягин. – При чем здесь отвертка?

– Я в качестве примера... Вот, скажем, у рабочего вдруг потерялась отвертка... Может он ее так назвать?

– Если потерялась, тогда конечно...

– А если не потерялась?

– А если не потерялась, тогда чего уж... Тогда она просто отвертка!

– Понимаю, – обрадованно кивнул Ларичев. – Видите, как все любопытно... А о предмете мужского рода можно так говорить?

– Не знаю... Вроде бы нет.

– А вот у нас в цехе, когда сломался конвейер, то механики его тоже называли сукой. А ведь конвейер мужского рода, не так ли?

Клягин долго и внимательно смотрел на Ларичева, потом решительно встал из-за стола.

– Отпусти ты меня, ради Бога, Евгений Петрович! Ну тебя... У меня аж голова заболела! Брось дурью мучиться!

– Нет, что вы, пожалуйста... – Ларичев умоляюще схватил Клягина за рукав. – Ну, прервемся... Перекур!

– Не могу я так ругаться! – жалобно сказал Клягин. – Без причины у меня не получается. Куражу нет! Телевизор включите, что ли... Там сейчас хоккей.

Включили телевизор. Играли «Спартак» и «Химик». «Спартак» проигрывал. Клягин несколько минут мрачно наблюдал за экраном, что-то бормоча, а когда в ворота «Спартака» влетела пятая шайба, он побагровел, повернулся к Ларичеву и закричал:

– Ладно! Валяй, Евгений Петрович, записывай! Все по порядку. Начнем с вратаря... Знаешь, кто он?!

Последующие занятия проходили более гладко. Ларичев аккуратно записывал и запоминал все, чему его учил Клягин, потом наговаривал это на магнитофон и давал прослушать учителю. Браниться без помощи техники он пока не решался. Клягин понемногу стал входить во вкус педагогики, стал задавать домашние задания.

После десятого урока Клягин стал настаивать на практических занятиях.

– Ну чего мы воду толчем? – возмущался он. – Сидим здесь, закрывшись, как уголовники, и шепотом лаемся... А на людях ты, Петрович, уж извини, все такой же одуванчик: дунь – посыплешься! Ты применяй, чему научился, применяй.

– Повода пока не было, – вздыхал Ларичев.

– Какой тебе повод? Пришел на работу – вот и повод... А то что ж зря стараться? Я деньги зря брать не привык!

И тут на фабрике произошло очередное ЧП. Цех резиновой обуви заporол большую партию сапог. Впрочем, не то чтоб уж так заporол – просто голенища оказались припаянными к основанию несколько под углом, что придавало им забавный вид, хотя в носке это, возможно, и не очень бы мешало, если, конечно, приноровиться их надевать. Но ОТК сапоги не пропустил, и разразился скандал. Директор накричал на заместителя, тот, в свою очередь, – на старшего технолога, тот обругал младшего, а когда они пришли в цех, то старший мастер вдруг заявил, что с него спроса нет, поскольку все расчеты делал Ларичев, стало быть, он и виноват в неправильном смыкании голенища и подошвы.

– Это неправда! – сказал Ларичев. – Я вам докажу...

– А мне нечего доказывать, – сказал старший мастер.

– Я вам несколько раз объяснял...

– А мне нечего объяснять, – снова прервал его тот. – Молоды вы еще меня учить, товарищ Ларичев. Я здесь двадцать лет работаю! Я эти сапоги делал, когда вам мать еще сопلي вытирала!

Ларичев побледнел и смолк. Старший мастер понял, что разговор окончен, повернулся и спокойно пошел прочь.

Наблюдавший эту сцену Клягин подскочил к Ларичеву и зашипел ему в ухо:

– Ну?! Чего ж ты... Ну?! Уйдет ведь! – Он даже подтолкнул Ларичева в спину.

Тот сначала нерешительно пошел, потом побежал, догнал старшего мастера и, нервно кусая губы, тихо сказал:

– Немедленно извинитесь!

– Чего? – не понял мастер.

– Немедленно извинитесь!!!

– Да идите вы, товарищ Ларичев, знаете куда?!

Лицо Ларичева сделалось красным, подбородок задрожал.

– Вы... вы...

– Ну же! – не выдержав, крикнул Клягин.

– Вы... вы, – продолжал бормотать Ларичев и, вдруг схватившись за грудь, стал медленно оседать на пол.

Его подхватили, положили на диванчик в коридоре. Через двадцать минут приехала «скорая». Клягин помогал выносить Ларичева на носилках. Тот был бледен, слабо улыбался и все пытался что-то объяснить Клягину, но Клягин угрюмо сопел и не слушал.

Через два дня фотографию Ларичева повесили в красном уголке в черной рамке. На кладбище пришло много народа, выступал представитель фабкома, который охарактеризовал покойного как хорошего специалиста и человека, любимого коллективом.

Вечером Клягин пришел к вдове на поминки, и хотя пил мало, но был очень мрачен и ни с кем не разговаривал. Только попросил магнитофон и, выйдя с ним на лестничную площадку, долго курил.

На следующий день он пришел на фабрику с красными от бессонницы глазами, до одиннадцати работал, а потом зашел к дежурному вахтеру и попросил у него ключ от радиорубки.

Войдя в радиорубку, Клягин закрылся изнутри, сел за стол и включил микрофон. Когда в динамиках раздался треск, Клягин немножко оробел, но тут же взял себя в руки и глухо произнес:

– Алло! Это Клягин говорит... Шофер Клягин Егор Степанович... Знаете, в общем...

Сквозь окно радиорубки он увидел, как работавшие в цехах люди удивленно подняли головы.

– Стало быть, вот что, – продолжал Клягин, – похоронили мы вчера, стало быть, нашего товарища... технолога... Ларичева Евгения Петровича. Это больно всем нам, что и говорить... Потому что, я вам скажу, замечательный он был человек, нежной души... и так далее... Очень хороший он был, Ларичев... Евгений Петрович...

В дверь радиорубки кто-то постучал, но Клягин даже не повернул головы.

– И вот что я вам теперь скажу, дорогие мои, – продолжал он, – конечно, здоровье у него было слабое, никто вроде не виноват, но я вам так скажу – на всех вина, а на мне, может, больше других... Он какой был человек?... Он – чуткий был человек, чистый... И он страдал от нашего с вами хамства. Он, можно сказать, ломал себя под нас... Понимаете?... Ну, сейчас поймете, кто не понимает... Слушайте сами... Женщинам разрешаю выйти!

Клягин достал из кармана пленку, поставил на магнитофон, включил. Раздалось шипение, а потом тихий голос Ларичева начал медленно и неуверенно выговаривать тяжелые, неповоротливые, совсем чужие для него слова...

Потом кто-то встал. Потом стали подниматься остальные... Клягин терпеливо ждал, пока пленка закончится. И все стоявшие молча ждали, а когда она кончилась, еще молчали несколько секунд.

– Вот так! – глухо сказал Клягин и выключил магнитофон. – Вот так!.. Все!

После этого случая Клягина обсуждали на месткоме и вынесли ему порицание. Потом на фабрику № 6 приезжала специальная комиссия, директор получил выговор за слабую воспитательную работу. А потом фабрику № 6 объединили с фабрикой № 7 и переименовали ее в фабрику № 8. И поскольку фабрика № 6 перестала существовать, то теперь уже трудно установить, был ли на ней этот случай вообще...

Обнаженный Куренцов

Воскресный день начинался прекрасно.

Василий Михайлович Куренцов проснулся рано, встал, позавтракал, надел белую нейлоновую рубашу, закатал у нее рукава, взял свою жену Зинаиду Ивановну Куренцову и направился в город на прогулку.

Они сели в такси, прокатились по центральным улицам Москвы, посмотрели Новый Арбат, Кутузовский проспект, потом приехали на Пушкинскую площадь, расплатились и вышли.

Здесь Куренцов и его супруга выпили пива, затем съели по стаканчику мороженого и, уже совсем сытые и довольные, пошли вниз по улице Горького. По дороге они разглядывали витрины магазинов, читали рекламы и афиши, улыбаясь, смотрели на девушек в модных юбках, и вообще им было хорошо. Затем они свернули в один из переулков, потом в другой переулок, потом – в третий и тут увидели возле низенького старинного дома длинную очередь.

– Извиняюсь, что здесь? – спросил Куренцов у высокого парня в замшевой куртке, стоявшего в очереди последним.

– Выставка, – ответил тот.

– Это в каком смысле? – не понял Куренцов. – Выставка чего именно?

– Выставка живописи, – сказал парень, оглядывая Куренцовых, и добавил: – Современной живописи...

– А почему вход? – поинтересовалась Зинаида Ивановна.

– Двадцать копеек, – сказал парень. – А для школьников и солдат по пятачку! – И улыбнулся.

Если бы не эта улыбка, Куренцов, конечно, не пошел бы на эту злосчастную выставку, поскольку живописью он никогда не интересовался. Но снисходительная улыбочка этого парня, а также меркантильный разговор о двадцати копейках и пятачке его задели.

Василий Михайлович повернулся к супруге и спросил:

– Ну что, Зинуля, посмотрим?

– Посмотрим! – быстро согласилась Зинаида Ивановна. – А то чего без толку по городу шляться...

Через двадцать минут супруги Куренцовы уже бродили по залам выставки.

Народу здесь было много. Люди переходили от картины к картине, тихо переговаривались. Возле некоторых о чем-то спорили.

Куренцовы в споры не вступали. Василий Михайлович вел под руку Зинаиду Ивановну, и они чинно прогуливались, глядя по сторонам. Все картины в принципе нравились Василию Михайловичу, особенно пейзажи. Но больше всего ему нравилась обстановка выставки, такая торжественная, можно даже сказать, благоговейная.

– Надо бы нам дома какую-нибудь картину повесить, – тихо сказал жене Василий Михайлович. – А то надоело на обои глядеть...

– Верно, – согласилась Зинаида Ивановна. – У нас в хозяйственном эстампы продают...

– Вот! – обрадовался Куренцов. – Пейзаж какой-нибудь... Так, чтоб деревья были, лужок...

Он сделал рукой неопределенный жест, поясняющий, какой именно лужок хотелось бы видеть на эстампе, глянул по направлению руки на стену и замер от неожиданности.

На большой картине, висевшей в углу, Василий Михайлович Куренцов увидел СЕБЯ...

Картина называлась «Ночное купание». Изображен на ней был берег реки ночью. Светила луна. Двое молодых ребят нагишом бежали к воде. А третий человек, лет пятидесяти,

только еще готовился к купанию: он наполовину снял трусы, обнажив левую ягодицу с крупной черной родинкой. Лицо этого человека было обращено к зрителю, и оно, это лицо, несомненно, было лицом Василия Михайловича Куренцова.

В первый момент Куренцову показалось, что это ему все чудится, но, увидев побледневшее лицо жены, он понял, что не ошибся.

– Что ж это такое? – тихо ахнула Зинаида Ивановна. – Васенька, это ж ты... голый!

Стоявшая впереди них девушка в очках при этих словах повернулась, посмотрела на Василия Михайловича, потом на картину и улыбнулась.

Холодный пот выступил на лбу Куренцова. Кулаки его сжались.

– Пошли, Зина! – хрипло скомандовал он. – Пошли к директору!

Главный администратор выставки долго слушал Куренцова, качал головой и растерянно улыбался.

– Вам это показалось, гражданин, – говорил главный администратор. – Вам это почудилось!

– То есть как – почудилось? – спрашивал Куренцов, и его левая бровь нервно дергалась от обиды. – Как это может почудиться, когда это я! И лицо, и фигура, и даже родинка... Могу показать!

– Нет-нет, спасибо! – отмахивался администратор. – Но даже если этот нарисованный мужчина и похож на вас, то вы же понимаете, что это случайное совпадение... Случайное, понимаете? Если, конечно, вы не позировали художнику...

– Ничего я не позировал, – зло говорил Куренцов. – Я этого художника в глаза не видел... И тех двух ребятишек, что со мной купаются, тоже не знаю... И речка незнакомая...

– Конечно! – вторила мужу Зинаида Ивановна. – Разве станет Василий Михайлович так купаться? У него плавки есть, японские, в полосочку... Я ему прошлым летом купила...

– Товарищи, что вы от меня хотите? – наконец спросил администратор.

– Снимайте картину! – твердо сказал Куренцов. – Снимайте и – точка! Здесь люди ходят, дети... Могут прийти сотрудники... Стыд какой! Снимайте ее к чертям!

– Это невозможно, – сказал администратор. – Картина одобрена выставочной комиссией... Снимать ее никто не имеет права!

– А я говорю – снимайте! – угрюмо повторил Куренцов. – Не доводите дело до скандала!

– Вы мне не угрожайте, гражданин! – сказал администратор и перестал улыбаться. – Все претензии предъявляйте художнику, хотя я уверен, что он их тоже не примет...

– Соедините меня с ним! – властно сказал Куренцов.

Администратор внимательно посмотрел на Василия Михайловича, пожал плечами и, сняв трубку телефона, набрал номер.

– Товарищ Егоров?.. Здравствуйте! Это с вами говорит администратор выставки. Здесь к нам пришел один товарищ. У него какие-то странные претензии к вашей картине. Сейчас передам ему трубку...

– Алло! Куренцов говорит, – сказал Василий Михайлович в трубку. – Товарищ художник, здесь такое дело получилось... я у вас на картине оказался... Ну, тот, который трусы снимает... Приношу протест!

– Не понимаю, – послышалось в трубке. – Какой протест?

– За искажение! – сказал Куренцов и с досадой понял, что говорит не то. – В общем, это получился вылитый я... Вы, товарищ, где-нибудь меня видели и зарисовали... А здесь люди ходят, дети...

– Какие дети? – недоуменно спросил голос в трубке. – Я вас, товарищ, никогда в глаза не видел и не рисовал...

– Может, и не видели, а получился я, – сказал Куренцов. – Даже родинка та же...

– При чем здесь родинка? Какая родинка? – Голос в трубке заметно нервничал.

– Обыкновенная родинка... На этом самом... Короче, снимайте картину, а то будет скандал! – хрипло сказал Куренцов.

– Вы выпили, товарищ, – спокойно произнес голос в трубке. – А потому оставьте меня в покое...

Куренцов несколько секунд слушал короткие гудки, потом положил трубку на стол и, не глядя на администратора, мрачно произнес:

– Ну, ладно!.. Пошли, Зина!

Они быстро шли по залам, не оглядываясь и не обращая внимания на людей. Зинаида Ивановна испуганно держала Куренцова за руку, а он шумно дышал носом, втянув голову в плечи, и иногда вздрагивал всем телом, словно кто-то сзади тыкал ему пальцем в спину.

В этот вечер Василий Михайлович Куренцов выпил много водки. Пил он один. Пил медленно, задумчиво, молча, почти не закусывая.

Зинаида Ивановна грустно смотрела на него, вздыхала, иногда пыталась утешать.

– Плюнь, Вася! – говорила она. – Ну зачем ты страдаешь? Чего особенного? Никто и не знает... Ну кто туда пойдет? Никто из знакомых не пойдет... И на работе объясни: мол, не ходите...

– Дура ты! – сердито отвечал Куренцов. – А вдруг по телевизору покажут? Или, того хуже, открыток наделают... Пять копеек штука...

– А ты отрицай все! Мол, это не я...

– «Отрицай»! – сердито перебивал Куренцов. – Чего ж отрицать, когда физиономия моя... Здесь отрицать глупо!

Он замолкал, курил, и кожа на его лбу, собиравшаяся морщинками в гармошку, говорила о мучительных раздумьях, терзавших мозг.

Наконец Куренцов встал, надел пиджак и, не глядя на жену, хмуро сказал:

– Я пройду, Зина!

– Куда это ты – на ночь глядя? – испугалась Зинаида Ивановна.

– Пройду, и все! – повторил Куренцов. – Развеюсь...

Он вышел из дома, постоял несколько минут у подъезда, проверяя, не следит ли за ним супруга, и, убедившись, что слежки нет, быстро направился к стоянке такси.

Точного адреса выставки Куренцов не знал, поэтому он долго колесил по центру Москвы, пока, наконец, такси не подвезло его к знакомому старинному дому.

Куренцов расплатился, подождал, пока машина отъедет, и закурил.

Было около часа ночи. Переулок опустел.

Василий Михайлович несколько раз обошел здание выставки и, убедившись, что ни сторожа, ни постового милиционера здесь нет, остановился сзади дома у маленького окошка. Затем, еще раз оглядевшись, Куренцов достал перочинный ножик, отколупнул сухую замазку, отогнул гвоздики и вынул двойное стекло.

Вынув стекло, Куренцов залез на невысокий подоконник и, с трудом протискивая свое грузное тело через узкие рамки окна, проник в помещение. Жуткая темнота окружила его со всех сторон.

Поначалу Куренцов очень испугался и с ужасом подумал, что никогда не найдет в такой тьме того, что ищет, но потом сообразил, что находится в каком-то подсобном помещении, а залы где-то впереди, и в них, возможно, будет посветлее.

Он долго шел по какому-то длинному коридору. Было очень темно и очень тихо, но алкогольное опьянение, в котором продолжал пребывать Куренцов, отгоняло страх и помогло ему всего с двумя падениями добраться до двери, толкнув которую, Василий Михайлович оказался в выставочном зале.

Здесь уже было гораздо светлее. Сквозь громадные окна проникал слабый свет уличных фонарей, и черные квадраты картин на стенах обозначались довольно четко.

«Ночное купание» Куренцов нашел быстро. Он еще несколько минут постоял перед полотном, вглядываясь в свое лицо, которое в этом полумраке показалось ему еще более похожим, потом подставил стул и снял картину с крюка.

И тут Куренцову стало страшно. За всю свою жизнь он никогда не делал ничего противозаконного, и теперь душа его заныла. Сердце бешено заколотилось, и его удары эхом разнеслись по пустым залам.

Однако Василий Михайлович быстро взял себя в руки, еще раз огляделся по сторонам, затем вынул холст из рамы, свернул его в трубочку, а рамку повесил на место.

И тут Куренцову опять стало очень страшно. Но совесть уже была ни при чем. Просто Василию Михайловичу показалось, что из дальнего угла кто-то наблюдает за ним. Куренцов задрожал от этого взгляда, но не побежал, а, наоборот, сам не зная почему, медленно пошел в этот дальний угол. Подойдя ближе, он увидел белую обнаженную женщину, стоявшую на коленях и протягивающую к нему, Куренцову, руки.

– Статуя! – догадался Куренцов, но от этого страх его не улетучился, а даже усилился. Потому что чем ближе он подходил, тем до жути знакомыми становились ее черты. И когда Василий Михайлович подошел совсем близко и взглянул в лицо этой каменной бабы, то из груди его вырвался какой-то странный хриплый звук.

Перед ним, на коленях, обнаженная, стояла его жена Зинаида Ивановна Куренцова.

От неожиданности ноги Василия Михайловича подкосились, и он шлепнулся на пол, но тут же вскочил, как-то странно застонал и, схватив скульптуру за вытянутые руки, попытался сдвинуть ее с места.

Однако скульптура была удивительно тяжелой, гораздо тяжелее живой Зинаиды Ивановны. Куренцов все-таки протащил ее по полу метра два, но затем устал, отчаянно пнул ее ногой, ушиб палец и заплакал от тоски.

В этот момент мимо окон проехал автомобиль, и желтые лучи его фар осветили большую картину на стене. На картине Василий Михайлович увидел своего брата, Виктора Михайловича Куренцова, проживавшего в настоящий момент в городе Калуге. Виктор Михайлович Куренцов был изображен почему-то в бескозырке, тельняшке, а за поясом у него торчал огромный пистолет.

Василий Михайлович оторопело посмотрел на него и, обреченно махнув рукой, пошел по залу.

Уже не удивляясь и не вздрагивая, он бродил по полутемным залам выставки и с каким-то тупым безразличием разглядывал картины.

Со всех стен на него смотрели Куренцовы.

Здесь были изображены его дядя Алексей Куренцов, двоюродный брат Сергей, крестный Андрей Степанович Жмакин, сестра Зины – Ольга, шурин Брюкин, племянница Клава Спиридонова, бабушка Анна Степановна, тетя по материнской линии Раиса Григорьевна.

Обнаженные или одетые в какие-то нелепые костюмы, с красными, синими, зелеными лицами, Куренцовы со всех сторон разглядывали Василия Михайловича, который кругами бродил по залам, пока не ткнулся лбом в какую-то большую дверь.

Здесь, точно очнувшись от сна, Куренцов с силой рванул ручку двери, потом забарабанил по ней кулаками и громко стал звать на помощь.

Через час милицейская машина везла Василия Михайловича Куренцова. Он сидел на железной лавочке между двумя милиционерами и тупо глядел в маленькое окошечко, разлинованное на квадраты стальными прутиками. Когда машина проезжала мимо памятника Юрию Долгорукому, Куренцов неожиданно улыбнулся, тронул одного из милиционеров за рукав и, кивнув на памятник, тихо сказал:

– О, видал?! Дядя мой, Михаил Степанович Куренцов... На коне изобразили, гады!

Измена

Виктор Андреевич Корюшкин прожил со своей женой Ниной в любви и согласии семь лет, и это обстоятельство его очень тяготило. Собственно говоря, мужской темперамент, отпущенный природой Корюшкину, и не требовал никакой побочной жизни, а вполне удовлетворялся законной, семейной, но, будучи человеком современным и в какой-то мере интеллигентным, Корюшкин не мог не понимать, что в таком безоблачном размеренном семейном существовании есть что-то провинциальное и ущербное.

Корюшкин смотрел фильмы, читал книги, беседовал со знакомыми и всякий раз убеждался, что на свете бушуют страсти, люди смело ныряют в море острых ощущений, на Западе уже придуман «группенсекс» (о нем рассказывал Корюшкину один институтский товарищ, который собственными глазами видел этот самый «группенсекс» в шведской авторучке), и получалось так, что только он, Виктор Андреевич Корюшкин, оказался за бортом, сидит, пьет чай и коротает знойные июньские вечера с женой и телевизором.

Особенно мучительными для Корюшкина были рассказы сослуживцев, когда в курилке учреждения, в котором работал Виктор Андреевич, после обеденного перерыва собирались мужики и, поболтав о начальстве или футболе, выходили на «живую» тему и когда какой-нибудь Монюков (толстый, лысоватый, ни рожи ни кожи) вдруг со смаком начинал повествовать о своей трехдневной командировке в Тулу, где он в гостинице познакомился с очаровательной девушкой, почему-то эстонкой (снежные волосы, нос в веснушках и шепчет эдак с акцентом: «Милый мой Моньюкоф...»), и какие сумасшедшие были эти три дня. И тут же тему подхватывал следующий: «Это что! А вот у меня был случай...» И загорались глаза, и каждый спешил захватить площадку, и только Корюшкин стыдливо моргал ресницами, потому что нечего ему было рассказывать. Не было в его жизни никого, кроме Нины, а до Нины были-то всего Зина да Томка в институте, и более никого, не то что, скажем, загадочной эстонки белоснежной, но вообще – ничего, хотя бы и менее экстравагантного. И Корюшкин со вздохом уходил из курилки в рабочую комнату, садился за свой стол и свирепо перекладывал папки из одного ящика в другой, чтобы забыться.

Главное, Корюшкин чувствовал, что он в принципе может понравиться женщинам (рост – выше среднего, глаза – серые, и в зубах – расщелина, что свидетельствует о тайных пороках), ему улыбалась секретарша Клара, и в автобусах он иногда ловил на себе пугливые оценивающие взгляды, но как перевести эти едва ощутимые признаки благосклонности во что-то более реальное, Корюшкин не знал.

Нина не то чтобы была ревнива, но, как всякая жена, чуть настороже. Из дому она никуда не уезжала, отдыхать супруги всегда ездили вместе, в командировки Корюшкина не посылали. Так что для легкой кратковременной связи просто не было элементарных условий. Пускаться же в длительный затяжной роман, скажем, с той же Кларой, Корюшкин боялся. Это пахло крупными неприятностями и разводом, а разрушать семью ему не хотелось: во-первых, был сын, во-вторых, Нина хорошая, в-третьих, не хотелось, и все...

Так шли дни, и на седьмом году совместной жизни вдруг наступил такой знойный июнь, когда все женщины надели модные кофточка-майки и такие короткие юбки, что Корюшкин вдруг понял: пора кончать с голубиным семейным воркованьем и свершить что-нибудь эдакое, возмутительное. А тут как раз и выдался случай: местком закупил путевки в двухдневный дом отдыха на водохранилище, и путевки распределили в учреждении, в котором работал Виктор Андреевич, и в соседнем, в котором он не работал, и еще в соседнем... И, покупая путевку, Корюшкин видел, что такие же путевки покупают малознакомые женщины в кофточках-майках.

Дома был трудный разговор. Нина очень обиделась, что Корюшкин не берет ее с собой, хотя он подготовил вполне логичные доводы: в доме пора провести генеральную уборку, поэтому он и сматывается, чтоб не мешать, и вообще ему хочется побыть в полном одиночестве, чтобы собраться с мыслями. Это «собраться с мыслями» особенно возмутило Нину.

– С какими еще мыслями? – зло спросила она. – Девицу себе наметил?

Корюшкин искренне обиделся, поскольку Нинины слова были правдой. Он закричал, что ему надоел этот домострой и вечные подозрения, на которые он не давал повода, и что трудно жить с женщиной, у которой такие мещанские представления о других. Потом он уложил в чемоданчик несколько рубаш, шорты, плавки, надел новые фирменные белые трусы в сеточку и лег спать отдельно, на раскладушке...

От учреждения отдыхающих вез огромный автобус. Водитель включил музыку, все громко разговаривали, неугомонный Монюков рассказывал анекдоты и всех смешил. Корюшкин тоже смеялся и победным взглядом оглядывал женщин, словно эти анекдоты придумал он. Женщины улыбались Корюшкину, и от этих перспективных улыбок его охватывало радостное волнение.

В доме отдыха селили по двое. Корюшкин оказался в одной комнате с Монюковым и чрезвычайно этому обрадовался, потому что Монюков был мужиком компанейским. Монюков тоже обрадовался соседству с Корюшкиным и сразу предупредил:

– Старик, очень хорошо, что мы с тобой... Ты тогда вечером подышишь на улице часов до двенадцати, ладно? У меня тут намечается маленькое суаре!

Корюшкин не знал, что такое суаре, но все равно обиделся, что его выпроваживают. Корюшкин надулся, заморгал ресницами и сказал:

– Сам дыши! У меня тоже суаре!

– У тебя? – Монюков оскорбительно хмыкнул.

– А что, не имею права? – Корюшкин решил твердо отстаивать свои права на комнату.

– Имеешь, конечно, – задумался Монюков. – Но на кой же черт я с тобой селился? Ты ведь у нас всегда был паинькой. А с кем у тебя?

– Пока секрет! – сказал Корюшкин.

– Уважаю, – сказал Монюков. – Я сам молчун. Ладно! Тогда давай кинем жребий: кому дышать, кому не мешать... Орел или решка?

Корюшкин выбрал «орла» и угадал. Монюков расстроился, а Корюшкин понял, что это знамение судьбы, тут же сбегал в буфет, купил бутылку коньяка и плитку шоколада...

Потом все пошли на реку. Корюшкин тоже пошел на реку, плавал вдоль берега баттерфляем, разбрасывал брызги и привлекал внимание. Потом он надел шорты, темные очки и с независимым видом фланировал по пляжу, подсаживаясь к разным компаниям и осторожно вступая в разговор. Парой слов он перекинулся с секретаршей Кларой и пригласил ее вечером в кино (это на всякий случай), познакомился с одной блондинкой (Люся из научно-исследовательского института, лаборантка, не замужем), пригласил ее после обеда погулять по аллеям, «чтоб не толстеть». Люся хотя и была совсем не толстая, но погулять вроде бы согласилась, во всяком случае, кивнула и улыбнулась...

За обедом Корюшкин подсел к столу, за которым сидел Монюков и четыре женщины, две – незнакомые. Монюков, как всегда, хохмил, а Корюшкин ухаживал за незнакомками, подавал им горчицу и в конце обеда, допивая компот, написал одной из них, Рае (полная брюнетка, инженер-экономист, разведена), записку на бумажной салфетке: «Давайте встретимся в 20.00 у клумбы». Прямо передать записку ей в руки он постеснялся, но положил ее перед Раей так, чтоб когда она вздумает вытереть губы, то прочла бы. После обеда Монюков завалился спать, а Корюшкин, глотнув для храбрости коньяку, выбежал на улицу. Он был бодр, весел и энергичен.

И вот тут в четко расписанном графике Корюшкина начало что-то заедать. Во-первых, не вышла худеть блондинка Люся. Корюшкин два часа бродил по аллеям, высматривая ее, но она не появилась. Правда, гуляя, Корюшкин заговорил с какими-то двумя студентками и, как ему показалось, сумел их к себе расположить, но к концу разговора выяснилось, что студентки вообще не из этого дома отдыха, просто приехали сюда на субботу, живут в лесу в палатке, где, кроме них, есть еще два студента. Проклиная себя за бессмысленно потраченное время, Корюшкин помчался к кинозалу и там увидел Клару с какой-то компанией незнакомых мужчин. Клара сказала, что встретила здесь случайно старых друзей, извинилась и ушла в кино с ними. А в 20.00 Рая не пришла к клумбе. Корюшкин прождал ее целый час, мучительно раздумывая, в чем причина неудачи: салфетка не дошла или Рая не захотела? Впрочем, теперь уже это не имело значения. Начинался вечер, время безвозвратно уходило.

Он быстро побежал к себе в комнату. Монюкова не было, на столе лежала записка: «Старик, желаю успеха! Вернусь в полночь, постарайся уложиться!» Виктор Андреевич посмотрел на часы – шел десятый час, теперь каждая минута была на счету. Корюшкин надел свежую рубашку, быстро побрился, глотнул еще для храбрости коньяку, вышел в коридор и начал бессмысленно бродить по этажам дома отдыха, прислушиваясь к звукам, доносящимся из-за закрытых дверей. Это были манящие звуки: смех, обрывки фраз, музыка, а за некоторыми дверями стояла тишина, – эта таинственная тишина больше всего волновала Виктора Андреевича. Погуляв полчаса и ничего не нагуляв, Корюшкин почувствовал себя бесконечно несчастным, вернулся в свою комнату, выпил весь коньяк и съел весь шоколад.

Он опьянел, и его охватила такая тоска, что он чуть не заревел. Положение и вправду выглядело идиотским: поругался с женой, рванулся ни свет ни заря в этот дурацкий дом отдыха, отвоевал отдельную комнату и теперь сидит и пьет один, как последний алкоголик! Корюшкин сидел, кусал губы, и в его душе зрело отчаянное желание выбежать в коридор, врваться в закрытые комнаты, орать и требовать, чтоб и его приняли в какой-нибудь загул...

И тут произошло нечто странное – погас свет. Корюшкин подумал, что это только в его комнате, но, выйдя на ощупь в темный коридор, он понял, что свет перегорел во всем доме. Люди чиркали спичками, весело переговаривались, отпускали сомнительные шутки, которые всегда легко говорить, когда не видно лица, кто-то сердито требовал позвонить на электростанцию... В вестибюле первого этажа ходила горничная и шепотом просила отдыхающих не волноваться. В длинном халате, в платочке, со свечой в руке, она была похожа на монашку, шептавшую молитву.

Темнота немножко развеселила Корюшкина. Он побродил по вестибюлю, давая советы по исправлению линии, потом на лестнице столкнулся с какой-то женщиной и в темноте попытался схватить ее за руку, игриво произнес: «Пardon, мадам!», но тут же его кто-то толкнул в плечо и строгий мужской голос произнес: «А ну проходи!..» Затем Корюшкин поднялся к себе на этаж, с трудом нашел свою комнату и, быстро раздевшись, рухнул на постель. От выпитого коньяка его потянуло в сон, а главное, он понял, что в темноте уж точно ни с кем не познакомишься, разве что схлопочешь по роже. Корюшкин закрыл глаза, и его воспаленный мозг начал понемножку гаснуть, и разные мысли стали медленно расползаться по извилинам, сворачиваясь в клубок и затихая...

Но тут скрипнула дверь, и в комнату вошла женщина. Корюшкин сразу понял, что это женщина, и проснулся. Сердце бешено застучало у него внутри, а мысли забегали в голове, сталкиваясь и ударяясь друг о друга. Женщина сделала несколько неуверенных шагов по комнате, наткнулась на стул. Корюшкин затаил дыхание, но надолго не смог, и зажатый в легких воздух, наконец, вырвался из него с каким-то стоном.

– Ой!.. Здесь кто-то есть... Простите, это какой номер? – спросила женщина.

– Семьдесят второй! – прошептал Корюшкин и резким движением выскочил из-под одеяла.

Женщина вскрикнула и отскочила, уронив стул, а Корюшкин в темноте поймал ее руку, притянул к себе и в каком-то дурмане начал страстно целовать ее, попадая губами то в плечо, то в лоб, то в шею, то вообще в никуда, потому что женщина отворачивалась и было темно...

– Прекратите! Прекратите! Я буду кричать! Кто вы?!

– Милая моя! Единственная! О! – страстно шептал Корюшкин, пытаясь перехватить ее вторую руку, которой она толкала его в грудь. – Это я! Корюшкин из отдела статистики... О!.. Дивная моя!.. Я женюсь, честное слово, женюсь!.. Прекрасная моя!.. Я женюсь, честное слово, женюсь!.. Прекрасная моя!.. О чудное мгновенье!

Корюшкин быстро-быстро говорил, переходя то на высокопарный стиль, то на какое-то суетливое бормотание с обещаниями завтра же расписаться, и все время выкрикивал: «О!.. О!..», а женщина твердила: «Перестаньте!» – и сопротивлялась, и отталкивала его, но Корюшкин чувствовал, что под его мощным напором толчки становятся все слабее, а сопротивление стихает, признавая себя бессмысленным...

Потом Виктор Андреевич, не одеваясь, вышел на балкон покурить. Он стоял в своих фирменных белых трусах в сеточку, его обдувал ночной ветерок, он курил и смотрел на небо, где не было луны, но очень ярко горели звезды, и он подумал, что звезды в июне очень красивы и как это прекрасно, что на них тоже есть жизнь...

Когда Корюшкин вернулся с балкона, то с удивлением обнаружил, что в комнате никого нет. Виктор Андреевич зажег спичку, огляделся, потом выглянул в коридор, надеясь, что она там, но коридор был пуст. Корюшкин хотел позвать ее, но тут сообразил, что не знает ее имени, и, даже если она где-то рядом и спряталась, непонятно, как к ней обращаться.

– Эй! – негромко позвал Корюшкин. – Эй, товарищ! Где же вы?

Ему никто не ответил. Корюшкин вернулся в комнату, снова закурил и сел за стол. Ему вдруг сделалось очень весело...

Вскоре зажегся свет, а ровно в полночь вернулся Монюков. Корюшкин, волнуясь и опуская малозначительные подробности, поспешно рассказал ему все. Он не стал ничего приукрашивать, ибо и правда была настолько невероятна, что он боялся, как бы Монюков ему не поверил. Однако Монюков поверил. Он усмехнулся, задумчиво почесал в затылке и спросил:

– И ты, стало быть, не знаешь, кто это был?

– Понятия не имею!

– Ну хоть приметы какие-нибудь?

– Какие там приметы? Темно было – хоть глаз коли...

– Толстая? Тонкая?

– Средняя, – подумав, сказал Корюшкин. – Плотная такая... А может, и худая. – Он растерянно заморгал ресницами.

– Так, – попытожил Монюков, – стало быть, ясно, что ничего не ясно! Однако кое-какие приметы все-таки есть... Во-первых, она мажется польской розовой помадой. – Он ткнул пальцем в щеку Корюшкину, и тот, подскочив к зеркалу, обнаружил на левой щеке две розовые полоски. – Во-вторых, – продолжал Монюков, сняв с одеяла длинный светлый волос, – она блондинка! Причем натуральная! Вот так-то, обвиняемый!

– Почему «обвиняемый»? – поморщился Корюшкин. – Не шути так... Лучше скажи, что теперь делать-то?

– А ничего не делать, – зевнул Монюков. – Спать надо. Завтра найдем.

– А вдруг она постесняется подойти?

– Все равно выдаст себя, – уверенно сказал Монюков. – Взглядом, улыбкой... Покраснеет. Тут много нюансов. Сам почувствуешь! Это, старик, флюидами передается... Вот у меня был аналогичный случай: загулял как-то в командировке в Калуге, проснулся в чужом

доме, не помню, как туда попал, не помню, с кем... Входит какая-то женщина, приглашает завтракать... А я ни имени ее не знаю, ни фамилии и не пойму: она или не она?

– Ну и что?

– Оказалось – она!

– Как догадался?

– Спросил просто: мол, вы или не вы? Она говорит – я! Так и догадался.

– А что потом?

– А ничего! Позавтракал, уехал... Да чего ты нервничаешь-то?.. Ну, было и было... Закон природы: ты – фавн, она – пастушка! Вспышки страстей... – Монюков еще раз смачно зевнул и пошел спать.

Утром Корюшкин проснулся рано, принял душ, побрился, тщательно причесался и стал будить Монюкова:

– Сережа! Вставай. Пойдем!

– Чего? Куда? – не понял со сна Монюков.

– Найти ее надо... Объясниться...

– Кого?.. Ах да, – потягиваясь, вспомнил Монюков. – Земфиру твою... Да чего ты спозаранку-то?.. Ай, Корюшкин! Прямо супермен какой-то... Кто бы мог подумать?

Через полчаса они спустились в столовую на завтрак. Корюшкин шел робко, пугливо оглядывался по сторонам, бессмысленно улыбался и здоровался со всеми женщинами.

– Не суетись! – строго сказал ему Монюков, садясь за стол. – Не зыркай глазами... Ешь спокойно, а когда уж почувствуешь флюиды...

– Да как почувствую?

– Ну, посмотрит она на тебя... по-особому! Ешь!

Корюшкин принялся жевать котлету и тут же почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Он резко обернулся и вздрогнул: на него смотрела бухгалтер Вера Михайловна, чей шестидесятилетний юбилей они недавно торжественно отметили у себя в учреждении. Корюшкина прошиб пот, но он все-таки сумел взять себя в руки и улыбнуться. Вера Михайловна улыбнулась ему в ответ. Монюков заметил эту улыбку и так непристойно заржал, что Корюшкин чуть не выронил вилку.

– Она, что ли? – давась от смеха, зашептал Монюков. – Ты что, Витя? У нее же внуки в армии...

– Прекрати немедленно! – зашипел Корюшкин. – Прекрати! Что я, рехнулся? Это не она... Она помадой не пользуется!

– Все равно смешно. – Монюков вытер слезы бумажной салфеткой. – Сдохнуть от тебя можно... Ну-ну, извини... Не буду. Сосредоточься! Вон в углу блондинка на тебя посматривает. Тебе интуиция ничего не подсказывает?

Корюшкин внимательно посмотрел на пухлую блондинку с орлиным носом, на всякий случай улыбнулся ей и тихо сказал:

– Нет, чувствую – не она.

– У нее помада розовая.

– Все равно! Чувствую – не она. И потом, у нее нос большой. А там... вроде бы... поменьше был.

– И сколько сантиметров?

– Слушай, – обиделся Корюшкин, – ты не издевайся! Если ты мне друг – помоги, а издеваться...

– Ладно, ладно! – перебил Монюков. – Не она так не она... Я не навязываю... Обсудим следующую кандидатуру...

Они перехватили взгляды еще нескольких блондинок. Корюшкин всем улыбнулся и всем кивнул, в смысле – поздоровался, но в отношении ни одной из них у него не возникло

чувства уверенности. Вообще, от этой неопределенной напряженности он начал уставать и нервничать. И тут Монюков вдруг резко толкнул его локтем – в столовую вошла Ксения Вячеславна Волохова, начальник управления при главке. Одета она была в белый летний костюмчик, ее светлые волосы, как всегда, были уложены пучком сзади. Она благосклонно кивала сотрудникам, чуть улыбаясь своими тонкими губами, слегка покрытыми розовой помадой...

– Ну что? Она?

Корюшкин не отвечал, а только смотрел на Волохову замороженным взглядом, и она тоже посмотрела на него, и даже дольше, чем на других, и улыбнулась...

– Ну? Она, что ли? – не унимался Монюков.

– Кажется! – сказал Корюшкин, и его зубы забили дробь о край стакана.

– Вот это да! – многозначительно присвистнул Монюков. – Это ты, старик, зря... Начальство в этом смысле лучше не трогать! Ну-ну, спокойней! – добавил он, видя, что лицо Корюшкина приобретает бледно-сиреневый оттенок. – Ничего страшного... Она тоже человек. Как говорится, закон природы, взрыв страстей: ты – фавн, она – пастушка! Да успокойся же!

Корюшкин не мог успокоиться и становился все сиреневей и сиреневей. Если себя он и мог в какой-то мере признать фавном, то Ксения Вячеславна была уж абсолютно не пастушкой, а начальником управления, и ее строгий суховатый голос приводил в трепет людей поважнее Корюшкина.

– Да не смотри ты на нее так, – шептал Монюков. – Это ж неприлично!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.